



ПОД СЭНЬЮ
МЕЧА И ПЕРА

Сага о Султане Селиме Явузе

Алексей Чернов

Алексей Чернов

**Под сенью меча и пера. Сага
о султানে Селиме Явузе**

«Автор»

2026

Чернов А.

Под сенью меча и пера. Сага о султানে Селиме Явузе /
А. Чернов — «Автор», 2026

Он войдёт в историю как Явуз, Грозный. Завоеватель, перед которым дрожали львы. Султан, перекроивший карту мира от Дуная до Нила. Но путь его начинается в тихой Амасье, где мальчик Селим слушает рассказы о великом деде Фатихе. «Султан Явуз» — это не хроника побед. Это история человека, который платит за трон самую высокую цену. Кровь братьев, предательство отца, бегство в Крым, изнурительные походы через выжженные пустыни. И тихий голос любви — жены Хафсы, друга Хасана Джана, туркменской девушки, оставившей стихи на столбе его шатра. Пройдя Чалдыран и Синай, сломив мамлюков и приняв ключи от Каабы, Селим обретает не власть, а смирение. Он называет себя не властелином, а служителем двух святынь. И прокалывает ухо медной серьгой раба — знаком того, что истинный повелитель только Бог. Роман о том, как меч ищет слово, как империя рождается в муке и как даже самый грозный правитель остаётся всего лишь человеком перед лицом вечности.

Содержание

Глава 1. Мальчик из Амасьи	5
Глава 2. Орлиное гнездо	10
Глава 3. Дым на Востоке	15
Глава 4. Молчание отца	20
Глава 5. Тень братьев	24
Глава 6. Первый поход без приказа	29
Глава 7. Крымский гамбит	34
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Алексей Чернов

Под сенью меча и пера. Сага о султানে Селиме Явузе

Глава 1. Мальчик из Амасьи

Камень под ладонью был холодным, как всё в этом дворце по ночам. Селим прижался щекой к стене и замер. За толстой кладкой говорили глухо и торопливо, голоса то взлетали, то обрывались — будто спорщики не могли решить, кричать им или шептать.

Мальчику не было ещё пяти, он не разбирал слов, но тревогу чувствовал безошибочно: всем телом, как собака чует грозу. Масляная лампа на полу отбрасывала рыжее пятно, и тень мальчика, вытянутая и нелепая, дрожала на стене вместе с пламенем. Пахло нагретым воском и сыростью горного камня. Где-то далеко внизу, за крепостными стенами Амасьи, текла река Ешилдырмак. Её шум — мерный, ровный, привычный — был единственным, что не пугало в эту ночь.

Селим не помнил, когда заснул. Проснулся от рассветного азана: продрогший, скрюченный у стены, с затёкшей ногой. Голоса за стеной давно стихли, но ощущение, что мир сдвинулся с места, осталось. Мальчик потёр глаза, встал и пошёл в комнаты наставника. Наставник объяснит.

Ходжу Мехмеда звали в Амасье «старым львом», хотя он не был ни старым, ни львом. Просто он единственный из дворцовой челяди ходил с такой прямой спиной, будто проглотил копьё, и говорил так, словно каждое его слово высечено в граните. Бывший сипахи, он служил ещё деду Селима — великому Мехмеду Фатиху, тому самому, чьё имя мальчик слышал чаще, чем собственное.

В то утро ходжа сидел на низкой тахте, скрестив ноги, и перебирал чётки из жёлтого янтаря. Селим остановился в дверях, не решаясь войти. Ходжа поднял глаза — и что-то в его взгляде заставило мальчика замереть.

— Садись, — сказал ходжа. — Ты опять не спал.

Селим сел на ковёр у его ног. Ковёр пах пылью и шерстью, и в его ворсе застряли крошки вчерашней лепёшки.

— Расскажи про деда, — попросил мальчик.

Ходжа помолчал. Янтарные зёрна щёлкали между пальцами — одно за другим, одно за другим, и в этом мерном щёлканье было что-то успокаивающее, похожее на счёт перед сном.

— Что именно?

— Как он взял тот большой город. Тот самый.

Ходжа Мехмед закрыл глаза. Пальцы замерли на чётках.

— Константинополь, — произнёс он тихо, словно пробуя слово на вкус. — Мне было двадцать три. Я стоял в третьей линии, за «бешеными» — теми, кого пускали первыми, чтобы они измотали врага и погибли, расчистив путь остальным. Я видел, как они полезли на стены, и видел, как их сбрасывали вниз, одного за другим, как тряпичных кукол.

Селим слушал, не мигая. Крошки лепёшки впивались в колени сквозь тонкие шаровары, но он не замечал.

— А потом?

— Потом стены рухнули. Не сами по себе — пушки. Огромные, которые отлил для твоего деда венгерский мастер Урбан. Земля тряслась, как живая. Камни летели, каждый размером с барана. Я оглох на правое ухо и с тех пор не слышу им.

Ходжа повернул голову, и Селим увидел длинный белый шрам — от мочки под воротник халата.

— Дед вошёл в город первым?

— Нет. Первыми вошли янычары. Но твой дед въехал на белом коне через ворота Святого Романа, когда пыль ещё не осела и павшие ещё не остыли. Я видел его лицо. На нём не было радости. Только усталость. И что-то ещё, чему я тогда не знал названия. Сейчас знаю.

— Что?

Ходжа открыл глаза и посмотрел на мальчика долгим, странным взглядом.

— Ответственность. Он взял город, и с той минуты город стал его ношей. Каждый камень, каждый житель, каждая мечеть и каждая церковь — он нёс их на своих плечах до самой смерти.

Мальчик обхватил колени руками. Горы за окном наставника розовели в утреннем свете, река внизу блестела расплавленной медью. Амасья просыпалась: заскрипели повозки, где-то крикнул петух, зазвенел молот в кузне.

— Я тоже хочу нести, — сказал Селим.

Ходжа ничего не ответил. Только покачал головой и снова закрыл глаза, перебирая янтарные зёрна.

Шесть лет спустя мир Селима треснул пополам.

Год 1481-й от Рождества Христова, 886-й от Хиджры. Великий Фатих ушёл в вечность. Его тело ещё не остыло в шатре посреди азиатской дороги, а двое сыновей уже мчались к Стамбулу — каждый с одной мыслью: трон.

В Амасье узнали об этом на рассвете третьего дня. Гонец, загнавший двух коней, ввалился в ворота дворца — серый от пыли, с пересохшими губами — и упал на колени перед главным евнухом. Слова его были короткими: султан Фатих, покоритель мира, скончался; шехзаде Баязид и шехзаде Джем идут на столицу.

Селиму было одиннадцать. Он стоял на внутренней галерее, вцепившись в каменные перила, и смотрел вниз, во двор, где гонец лежал ничком, не в силах подняться. Вокруг суетились люди: бегали, хватали друг друга за рукава, о чём-то кричали. Дворец гудел, как встревоженный улей.

Отец уехал. Баязид, который всего месяц назад гладил Селима по голове и обещал привезти с похода соколёнка, теперь скакал к Стамбулу. И лицо его, наверное, было совсем другим — не отцовским. Чужим.

Селим простоял на галерее до полудня. Ноги онемели, солнце пекло макушку, но он не уходил: наблюдал, запоминал — как меняются лица, когда рушится привычный порядок. Как быстро почтение превращается в суету, а суета в страх. Как начальник стражи, ещё вчера грозный и уверенный, мечется по двору с растерянным лицом мальчишки, пойманного за воровством.

К вечеру пришла вторая весть: Баязид опередил Джема, янычары встали на его сторону, Стамбул за Баязидом. Но Джем не сдался.

Война братьев продолжалась месяцы. До Амасьи долетали обрывки: Джем провозгласил себя султаном в Бурсе, потом бежал, потом вернулся с войском, Баязид разбил его, Джем бежал снова — к мамлюкам, потом к рыцарям Родоса, потом к папе римскому. Из принца он превратился в заложника, из заложника в инструмент, из инструмента в призрак, которым Европа пугала Османскую державу: «Отдайте нам то, что мы хотим, или мы выпустим вашего брата».

Селим следил за этим из Амасьи, как следят за пожаром на дальнем холме: далеко, но жар чувствуется. Ходжа Мехмед больше не рассказывал о Фатихе. Вместо этого он молчал, и молчание его было тяжелее любых слов.

Весной 1482-го через Амасью прошёл караван беженцев. Селим увидел их с крепостной стены: длинная серая лента, ползущая по дороге вдоль реки. Повозки, навьюченные ослы, женщины с узлами на головах, дети, бредущие за матерями. Пыль стояла над ними, как тяжёлый саван.

Он спустился к воротам. Стражники не остановили: в суматохе тех дней на мальчика-шехзаде мало кто обращал внимание. Селим стоял у обочины и смотрел, как мимо течёт людская река. Запах был тяжёлым, кислым — невымытых тел, прогорклого масла, болезни и усталости. Мужчин почти не осталось: женщины, старики, дети.

Одна женщина остановилась прямо перед ним. Молодая, но лицо у неё было таким, словно она прожила три жизни, и все три оказались несчастливими. На руках она держала что-то, завернутое в грязную ткань. Селим подумал: свёрток. Потом понял: ребёнок. Потом увидел, что ребёнок не двигался.

Женщина посмотрела на мальчика пустыми глазами. Не узнала в нём шехзаде, не попросила помощи, не сказала ни слова. Просто посмотрела и пошла дальше, покачивая свёрток на руках — как живого.

Селим не заплакал. Одиннадцатилетние мальчики в Амасье не плачут. Но в горле встал ком — горький, плотный, как застрявший кусок сухого хлеба, — и не проходил до самого вечера.

Он нашёл ходжу Мехмеда в его комнате. Старый сипахи точил короткий кинжал, и тихий визг стали о камень показался Селиму самым тоскливым звуком на свете.

— Это из-за войны? — спросил мальчик. — Те люди на дороге?

Ходжа кивнул, не отрываясь от лезвия.

— Чьи они? Отца или дяди?

— Какая разница, — ответил ходжа. — Когда два слона дерутся, трава под ними не спрашивает, чьи ноги её топчут.

Селим сел на пол. Ковёр — тот же ковёр, пыльный и шерстяной, — но крошек лепёшки в нём уже не было. Шесть лет прошло, и крошки вычистили, и мальчик вырос, а мир стал хуже.

— Дед не допустил бы этого.

Ходжа поднял глаза.

— Нет, — сказал он медленно. — Не допустил бы. Но твой дед оставил после себя закон. Знаешь какой?

Селим знал. Все шехзаде знали, хотя никто не говорил об этом вслух. Закон Фатиха — короткий, как удар клинка: «Тот из моих сыновей, кто вступит на престол, волен умертвить своих братьев ради порядка в державе».

— Знаю, — сказал мальчик.

— Твой отец этот закон не исполнил. Джем жив и будет жить, пока не сгинет в какой-нибудь итальянской тюрьме. А пока он жив, каждый враг империи может использовать его как таран. Понимаешь?

Селим понимал — не до конца, не так, как поймёт через двадцать лет, но зерно упало в борозду.

— Отец не хотел убивать брата, — сказал он тихо.

— Твой отец мягкий человек. — Ходжа провёл большим пальцем по лезвию, проверяя остроту. — В мирное время это достоинство. В наше время — роскошь, которую может позволить себе только тот, кто согласен платить за неё чужими жизнями.

Ходжа поднял кинжал к свету. Лезвие блеснуло — чистое, безжалостное.

— Запомни, мальчик: милосердие правителя оплачивается судьбами его подданных. Те люди на дороге с детьми — это цена отцовской мягкости. Не его вина. Его беда.

Годы в Амасье текли, как вода Ешильырмака: быстро, если не смотреть, и медленно, если вглядываться. Селим рос. Худой, жилистый мальчик с острым лицом и тёмными глазами, которые запоминали всё, но отдавали мало.

Учителя менялись: приезжали из Стамбула, из Бурсы, из Коньи. Каждый привозил свой предмет и свою манеру: один обучал Корану, другой арабской грамматике, третий персидской поэзии, четвёртый — верховой езде и стрельбе из лука. Из всех наук Селима тянуло к двум: к искусству войны и к стихам. Странное сочетание, которое озадачивало наставников. Мальчик, утром без промаха бивший из лука по мишеням с тридцати шагов, вечером просиживал часы над рукописями Хафиза и Руми, водя пальцем по строкам на фарси, шевеля губами.

Первые свои стихи он написал в четырнадцать лет. Получилось скверно: рифма хромала, размер расползлся, образы были украдены у Саади, и даже Селим, при всей подростковой гордости, понимал: это плохо. Он скомкал пергамент и бросил в жаровню. Огонь уничтожил строки за секунду. Но на следующую ночь написал снова. И снова сжёг.

Третья попытка вышла чуть лучше. Строка ложилась ровнее, и в ней мелькнуло что-то своё — не чужое, не взятое у мёртвых поэтов, а рождённое из собственной бессонной ночи:

Я видел, как ветер клонит горный кипарис, и понял: сила не в том, чтобы не гнуться, а в том, чтобы не сломаться.

Он не сжёг эту строку. Спрятал под подушку. Утром при свете дня она показалась наивной, но Селим всё равно не выбросил пергамент: сложил вчетверо, убрал в кожаный мешочек на поясе и носил с собой.

Ходжа Мехмед узнал о стихах, потому что ходжа знал всё. Не похвалил, не поругал. Сказал только:

— У Фатиха тоже был диван стихов. Он писал по ночам, после битв. Говорил, что перо очищает то, что пачкает меч.

Селим промолчал. Но глаза его блеснули.

Семнадцатый год жизни наступил внезапно, как горный обвал. Только что он был мальчиком, сидящим на ковре у ног наставника, и вдруг стал юношей, которому отец назначил санджак. Трабзон. Далёкий, дикий, пограничный Трабзон на берегу Чёрного моря. Крепость на краю империи.

Селим принял назначение молча. Не обрадовался, не огорчился — или обрадовался, но спрятал радость так глубоко, что ни один мускул на лице не дрогнул. Он уже умел это: прятать.

В последний вечер перед отъездом он поднялся на Харшенскую гору. Один, без слуг, без стражи. Амасья лежала внизу, в излучине реки, — маленькая и беззащитная, как ладонь, раскрытая к небу. Минареты тонули в сумерках, огни зажигались один за другим — робкие, жёлтые, похожие на светлячков.

Здесь он родился. Здесь узнал, что великий дед брал города и слагал стихи. Здесь увидел женщину с мёртвым ребёнком на руках и понял: мягкость и слабость не одно и то же, но для правителя между ними нет разницы.

Ветер дул с гор — холодный, резкий, пропитанный запахом хвои и мокрого камня. Селим стоял на краю обрыва, и плащ его хлопал за спиной, как чёрное крыло.

Молитва пришла сама — без усилия, без привычных заученных слов. Не ритуал, а что-то живое, горячее, поднявшееся из самой глубины. Он не просил Аллаха о троне. Не просил о славе и не просил о победах. Он просил о силе. Не для себя — для державы, которая трещала по швам, пока его отец писал стихи и заключал мирные договоры с теми, кого следовало остановить.

Амасья молчала внизу. Горы молчали вокруг. И в этом молчании Селим дал клятву. Не произнёс её вслух, не поклялся ни на Коране, ни на мече, ни на могиле деда. Просто решил. Тихо, как решают самые важные вещи: без слов, без свидетелей, наедине с Богом и ветром.

Он не допустит раскола. Никогда. Чего бы это ни стоило.

Потом развернулся и пошёл вниз, к огням, к людям, к повозкам, которые уже грузили для долгой дороги на восток.

Он ещё не знал, что эта клятва будет стоить ему всех, кого он любит.

Глава 2. Орлиное гнездо

Море он увидел раньше, чем город. Оно выступило из-за поворота горной дороги внезапно — огромное, тёмное, живое, — и Селим натянул поводья так резко, что конь всхрапнул и попятился. До этого дня он знал воду только по реке Ешилърмак: ленивой и ручной. Здесь же вода не кончалась. Она уходила до самого горизонта, сливаясь с небом в мутную сизую полосу, и ветер с неё бил в лицо — мокрый, солёный, пахнувший водорослями и чем-то ещё, чему Селим не знал названия. Позже он поймёт: так пахнет свобода. Или опасность. Для него это было одно и то же.

Трабзон открылся за следующим перевалом. Крепость на скале, вросшая в камень, как ласточкино гнездо, а под ней, вниз к берегу, — россыпь домов с плоскими крышами, узкие улочки, пристань, где покачивались рыбацьи лодки. Чайки орали так, будто их разрывало, и этот пронзительный, жадный звук будет преследовать Селима все тринадцать лет его губернаторства.

Ему было семнадцать. Худой, жилистый юноша с острым лицом и тёмными глазами, в которых горела та особая, молчаливая жадность, с какой голодные люди смотрят на хлеб. Только Селим был голоден не до хлеба. До дела.

Свита въехала в город через восточные ворота. Местные чиновники выстроились у входа в крепость: кади в белом тюрбане, начальник гарнизона с кривой саблей на боку, сборщик налогов, портовый смотритель, ещё десяток лиц — круглых, потных, вежливых. Все кланялись. Все улыбались. Все лгали, и Селим видел это с первого взгляда: в Амасье его научили читать лица раньше, чем книги.

Три недели он слушал. Принимал доклады, кивал, задавал вопросы, которые казались невинными, и запоминал ответы. Кади жаловался на контрабандистов, начальник гарнизона — на нехватку людей, сборщик налогов — на неурожай. Все жаловались, и ни один не предложил решения.

По ночам Селим разворачивал карты и сидел над ними до рассвета, водя пальцем по линиям границ. Трабзон был ключом к востоку: за горами начинались земли, где правили другие законы и молились другим молитвам. Грузинские княжества, персидские кочевники, остатки разбитой Трапезундской империи, чьи призраки ещё бродили по этим берегам. Граница была дырявой, как старый бурдюк: через неё текли лазутчики, беглецы, контрабанда, слухи.

А городу было всё равно. Город торговал, ел, пил, спал и просыпался, чтобы снова торговать. Гарнизон ленился. Стены крепости в двух местах осыпались, и никто не чинил их: камни лежали у подножия, заросшие травой, словно руины, которым сто лет, а не два.

На исходе третьей недели Селим понял: слушать больше нечего. Пора смотреть самому.

Одежду он взял у конюха: грубую шерстяную рубаху, залатанные шаровары, кожаный пояс без пряжки. Обмотал голову серой тканью, как это делали портовые грузчики, и натянул стоптанные башмаки, от которых пахло конским потом. Зеркала в его покоях не было, но отражение в медном тазу показало то, что нужно: худой парень из порта, каких в Трабзоне тысячи.

Он вышел через заднюю калитку крепости на рассвете, когда стражники ещё зевали и протирали глаза. Спустился по крутой тропе к нижнему городу, минуя мощёные улицы, по которым вчера ездил в шёлковом кафтане. Сегодня под ногами хлюпала грязь, и он чувствовал каждый камешек сквозь тонкую подошву.

Рынок встретил его стеной звука. Торговцы кричали, расхваливая товар, и голоса их сплетались в сплошной гул, из которого то и дело выныривали отдельные слова: «свежая, свежая!», «три акче за связку!», «клянусь Аллахом, лучшая на побережье!». Пахло жареной

рыбой, кориандром, свежесделанной кожей. Мальчишка-разносчик пронёсся мимо с подносом, на котором дымились пиалы, и Селим поймал запах кофе — густой, горький, незнакомый. В Амасье кофе не пили.

Он шёл по рядам, стараясь не выделяться, и смотрел. У лавки менялы двое солдат в форме гарнизона выгребали горсть монет из рук толстого грека, и грек улыбался, кланялся, благодарил — но глаза его оставались пустыми. У мясных рядов сборщик пошлин взвешивал баранью тушу на весах с гирей, которая была явно легче положенного: даже Селим, стоя в пяти шагах, видел, что один край перевешивает. Сборщик записывал цифры в тетрадь и причмокивал от удовольствия.

Селим запоминал лица. Солдат, которые берут мзду. Сборщика, который обвешивает. Торговца тканями, который продаёт персидский шёлк без тамги — значит, контрабандный. Муллу у мечети, который отворачивается, когда мимо проносят бочонки с вином. Город разлагался, тихо и привычно, как разлагается яблоко: снаружи ещё крепкое, а внутри каша.

Он уже хотел повернуть назад, когда услышал голос.

Голос доносился из чайной — тесной и тёмной, втиснутой между лавкой седельщика и мастерской медника. Вход закрывала выцветшая занавеска, и сквозь неё сочился запах угольного дыма и заваренных трав. Селим отодвинул ткань и вошёл.

Внутри было полутемно. Низкие столики, ковры на лавках, несколько человек с пиалами. В дальнем углу, у стены, сидел человек лет тридцати и негромко читал вслух. Не Коран — стихи. На фарси. Селим замер у входа. Строки были ему знакомы: Хафиз, газель о соловье и розе. Но читавший произносил их иначе, чем учителя в Амасье. Без распева, без учёной торжественности. Просто, как будто разговаривал с кем-то, кого здесь не было.

Человек оказался невысоким, крепко сложенным, с коротко стриженной бородой и внимательными карими глазами. Лицо его было из тех, что не запоминаются в толпе, но, раз запомнив, уже не забудешь: что-то в нём было одновременно насмешливое и печальное, как у человека, который видел слишком много и решил относиться ко всему с мягкой иронией, потому что иначе не вынести.

Селим сел за соседний столик. Хозяин принёс пиалу чая — мутного, горячего, обжигающего пальцы сквозь глину. Селим отхлебнул и прислушался.

Человек закончил газель и замолчал. Поднял глаза, встретился взглядом с Селимом и чуть наклонил голову — как наклоняют, когда узнают кого-то, но не могут вспомнить где.

— Хафиз? — спросил Селим.

— Хафиз, — подтвердил человек. — Хотя в этом городе, боюсь, больше ценят стихи о ценах на рыбу.

Селим усмехнулся — впервые за три недели в Трабзоне.

— Ты учёный?

— Был. Учился в Бурсе, потом в Конье. Потом понял, что знания не кормят, и приехал сюда. Здесь хотя бы рыба дешёвая.

— Как тебя зовут?

— Хасан. Хасан Джан.

Имя ничего не сказало Селиму. Тогда ещё не сказало. Он отпил чаю — горького, терпкого — и спросил:

— Ты знаешь этот город?

Хасан Джан посмотрел на него с тем особенным прищуром, каким смотрят люди, привыкшие оценивать собеседника по первым трём фразам.

— Достаточно, чтобы понимать, где не стоит ходить ночью. А ты, похоже, нездешний.

— Приезжий.

— Вижу. По рукам. Грузчики не стригут ногти так коротко. И мозоли у тебя не от веревок, а от поводьев и тетивы.

Селим невольно сжал кулак, пряча пальцы. Хасан Джан заметил это и улыбнулся — открыто, без подобострастия, без страха. Просто человек, которому весело.

— Не бойся, — сказал он. — Мне нет дела, кто ты. Мне есть дело до того, как ты слушаешь стихи. Ты слушал, как слушают те, кто понимает. А таких в этом городе можно пересчитать по пальцам одной руки, и ещё останутся пальцы.

Селим допил чай. Глиняная пиала была тёплой в ладонях, и ему не хотелось её отпускать.

— Приходи завтра в крепость, — сказал он, вставая. — Спроси губернатора.

Хасан Джан моргнул. Прищур исчез, сменившись чем-то, что Селим видел лишь однажды: тем же выражением, с каким ходжа Мехмед смотрел на горы Амасьи, когда думал, что его никто не видит. Смесь удивления и понимания.

— Губернатора, — повторил Хасан Джан ровным голосом.

— Губернатора.

Пауза. Хасан Джан обвёл взглядом грязную рубаху, залатанные шаровары, стоптанные башмаки. Потом снова посмотрел на руки — на ногти, на глаза.

— Завтра, — сказал он. — Приду.

Селим вышел из чайной и пошёл к крепости, чувствуя на спине взгляд, от которого почему-то стало легче дышать. Впервые за три недели одиночества кто-то посмотрел на него не снизу вверх и не со страхом. Просто посмотрел. Как равный.

Хасан Джан пришёл не на следующий день, а через два. Селим уже решил, что тот не придёт, и злился на себя за то, что ждал. Когда стражник доложил о посетителе, Селим велел впустить, не поднимая головы от карт.

Хасан вошёл, остановился у порога и молча оглядел комнату. Карты на столе, свитки на полу, огарок свечи, которую жгли всю ночь. Потом посмотрел на Селима — и Селим увидел, что тот не удивлён, не потрясён, не испуган. Словно всю жизнь заходил к губернаторам, которые передевались грузчиками и слушали стихи в портовых чайных.

— Опоздал на день, — сказал Селим.

— Проверял.

— Что?

— Что ты действительно губернатор, а не сумасшедший, который любит чужую одежду и плохой чай.

Селим поднял голову. Лицо его оставалось каменным, но в глазах мелькнуло что-то живое.

— Проверил?

— Проверил. Ты губернатор. — Хасан Джан помолчал. — И, кажется, первый, кто ходит по собственному рынку без стражи.

— Со стражей рынок молчит.

— Без стражи рынок может убить.

— Не убил.

Хасан Джан кивнул, соглашаясь с этим доводом.

— Зачем я тебе? — спросил он.

Селим встал из-за стола. Прошёлся по комнате — три шага в одну сторону, три в другую. Привычка, которая останется с ним на всю жизнь: ходить, когда думает.

— Мне нужен человек, который не боится говорить правду. В этой крепости все говорят то, что я хочу слышать. Мне нужен тот, кто скажет то, что я слышать не хочу.

Хасан Джан посмотрел на него долго и серьёзно. Улыбка ушла с его лица, и без неё стало видно, что он старше, чем казался в чайной, и что за мягкой иронией прячется усталость человека, который многое потерял.

— Это опасная должность, — сказал он.

— Знаю.

— Люди, которые говорят правду правителям, обычно плохо заканчивают.

— Те, кто им лжёт, заканчивают хуже. Просто не сразу.

Тишина. За окном кричали чайки, и их крик — резкий, жадный — заполнил комнату, как чужой голос в чужом споре.

Хасан Джан протянул руку. Селим пожал её. Ладонь была сухой и крепкой. Так началась дружба, которая продлится тридцать три года и закончится только тогда, когда один из них уйдёт, а второй будет читать над ним суру Ясин.

Нападение случилось в ночь на пятницу, через два месяца после приезда Хасана Джана.

Селим не спал. Бессонница, старая спутница, пришла без предупреждения: он лёг после ночной молитвы, закрыл глаза, и мысли полезли, как муравьи из разорённого муравейника, — одна за другой, каждая тащила своё бремя. Донесения с границы, цифры сборов, лицо сборщика, обвешивающего мясо, лицо отца — расплывчатое, далёкое, чужое. Он лежал на спине, глядя в потолок, и слушал. Море шумело внизу, мерно и глухо. Ветер шуршал по стенам крепости. Ночной сторож прокричал третью стражу — и его голос, протяжный и заунывный, ещё висел в воздухе, когда Селим услышал другой звук.

Тихий. Почти неслышный. Скрежет железа о камень.

Окно. Кто-то снаружи цеплялся за кованую решётку, и пальцы скользили по металлу с тем еле уловимым звуком, который не услышит спящий. Но Селим не спал. Он не пошевелился, не потянулся к мечу, висевшему на стене в двух шагах от постели. Просто лежал, дышал ровно — и ждал.

Решётка скрипнула. Ставня подалась внутрь, и в комнату втёк запах: мокрый камень, морская соль и что-то ещё — кислое, острое. Пот. Чужой пот, пропитанный напряжением и чем-то сладковатым. Яд? Зелье, притупляющее боль?

Тень упала на пол. Человек двигался без звука, как кошка. Селим видел его краем глаза: невысокий, в тёмной одежде, с лицом, замотанным тканью. В правой руке блеснуло лезвие. Короткое, широкое. Не сабля, не кинжал. Нож мясника.

Нападающий сделал шаг к постели. Второй. Третий.

Селим ударил ногой снизу, из-под одеяла, в колено. Хрустнуло. Незванный гость охнул, завалился набок, и нож чиркнул по стене, высекая искры. Селим перекатился на пол, вскочил — босые ноги на холодном камне, темнота, в которой видны только контуры.

Соперник оказался быстр. Даже с повреждённым коленом он развернулся, махнул ножом, и лезвие рассекло воздух в пальце от горла Селима. Селим отшатнулся, схватил убийцу за запястье и вывернул. Запястье хрустнуло, нож звякнул о пол — и тогда Селим ударил лбом в переносицу. Удар был грязным, уличным, которому его не учили в Амасье. Которому научил Трабзон.

Человек обмяк. Селим держал его за горло, прижимая к стене, и чувствовал под пальцами чужой пульс — частый и слабый, как биение крыла ослабевшей птицы.

— Стража! — крикнул Селим.

Голос его остался спокоен. Руки не тряслись. Это удивит его позже, когда всё закончится и он останется один с разбитыми костяшками. Сейчас некогда удивляться.

Разговор продолжался до рассвета.

Лазутчик оказался молодым, не старше двадцати пяти. Лицо, когда размотали ткань, было обычным: широкие скулы, редкая борода, нос, сломанный ударом Селима. Говорил он на турецком с румелийским акцентом — значит, с западной стороны, из Европы. Хасан Джан стоял у стены и молчал. Селим приказал ему присутствовать, потому что хотел свидетеля, которому доверял. Хасан был бледен, но держался.

Селим сидел напротив убийцы на низком табурете. Между ними стоял медный поднос с пиалой кофе, который Селим пил маленькими глотками, словно это было обычное утро, обычная беседа. Горечь обжигала язык — он привыкал к этому вкусу.

— Кто послал? — спросил Селим.

Молчание. Глаза пленника бегали от стены к двери, от двери к окну, от окна к Селиму.

— Кто послал? — повторил Селим тем же голосом. Ни угрозы, ни гнева. Вопрос, заданный так, как спрашивают цену на рынке.

Молчание.

Селим отпил кофе, поставил пиалу, потёр переносицу — голова начинала болеть тупо и мерно, как всегда после бессонной ночи.

— У тебя сломано колено и запястье, — сказал он. — Мой лекарь может их вправить. Или не вправить. Мне всё равно. Но ответь на вопрос — и к утренней молитве будешь лежать на чистой постели с перевязанными ранами. Не ответишь...

Он не договорил. Не нужно было.

Пленник заговорил на рассвете, когда первый азан поплыл над крепостью и голос муэдзина, дрожащий в утреннем воздухе, смешался с хриплым шёпотом. То, что он сказал, было хуже ножа.

Его наняли не на границе. Не в Грузии, не в Персии, не среди контрабандистов. В Стамбуле. Человек, передавший деньги и нож, назвал имя, которое пленник не разобрал, но описал печать на письме с приказом — тугру с тремя хвостами. Печать высокого сановника. Не пограничного бея, не мелкого чиновника. Кого-то из дивана. Кого-то при дворе отца.

Селим слушал, и лицо его не менялось. Ни один мускул, ни одна складка. Хасан Джан, стоявший у стены, потом скажет, что в тот момент впервые увидел в семнадцатилетнем юноше будущего султана: не по жесту, не по слову, а по тишине, которая стояла в его глазах, пока мир вокруг рушился.

Селим встал, вышел из комнаты, прошёл по коридору в свои покои, закрыл дверь и сел на постель — ещё смятую, ещё хранившую вмятину от его тела и тёплый запах шерстяного одеяла.

Стамбул. Кто-то при дворе отца хочет его смерти. Кто? Он потёр переносицу, сжал зубы до скрежета и уставился в стену. Море за окном шумело — равнодушное и огромное. Ссадины на костяшках засыхали, стягивая кожу. Неприятный привкус на разбитой губе не уходил, сколько ни сплёвывай.

Враг не на границе. Враг за спиной. В том самом дворце, где его отец пишет стихи и перебирает чётки, не подозревая, что кто-то из ближнего круга заказал устранение его собственного сына.

Или подозревая. И молча.

Эта мысль была хуже всех остальных.

Глава 3. Дым на Востоке

Костёр на перевале горел плохо: ветер задувал пламя, сырые ветки шипели, выбрасывая клубы едкого дыма. Селим сидел на камне, подтянув колени к груди, и смотрел на восток — туда, где темнота гор сливалась с темнотой неба и невозможно было понять, где кончается земля и начинается ночь.

Ему шёл тридцать второй год. Четырнадцать лет губернаторства в Трабзоне выточили из тощего юноши жёсткого, сухого мужчину с впалыми щеками и залёгшими под глазами тенями. Борода, короткая и аккуратная, уже тронулась первой сединой у висков, хотя до старости было далеко. Просто бессонница старит быстрее, чем годы.

Рядом, привалившись к седлу, дремал проводник из местных — курд по имени Тарык, нанятый для прохода через горные тропы. Чуть дальше в темноте переминались кони, и глухой перестук копыт о камень мешался с воем ветра и треском огня.

— Мой господин, — голос разведчика Юсуфа вынырнул из темноты раньше, чем его силуэт. — Мы нашли их. Два перехода на восток. Трое мужчин, двигаются по горной тропе к деревне Ак-Кая. У одного красная повязка на голове.

Красная повязка. Кызылбаши. Красноголовые.

Селим не шевельнулся. Отпил из кожаной фляги — вода была ледяной, с привкусом горного ручья и сыромятной кожи.

— Вооружены?

— Ножи. Может быть, пистоль у старшего. Не воины. Похожи на проповедников.

Проповедники. Это слово Селим ненавидел больше, чем «лазутчик» или «убийца». Лазутчика можно поймать, противника — остановить. А проповедник входит в деревню с улыбкой и мягким голосом, и через месяц деревня молится не так, как молилась, и смотрит на восток с надеждой, которой там нечего делать.

За последние три года таких было десятки. Они просачивались через границу, как вода через трещины в плотине: тихо, упорно, неостановимо. Каждый нёс одну и ту же весть. На востоке поднялся новый вождь. Молодой, прекрасный, божественный. Шах Исмаил, потомок пророка, живое воплощение имама. Он объединит всех правоверных, сокрушит тиранов, приведёт справедливость.

Селим слышал это так часто, что мог повторить наизусть. И каждый раз, слыша, чувствовал, как в животе сжимается холодный узел.

— Берём живыми, — сказал он, вставая. — Особенно старшего. Мне нужен его язык, а не его жизнь.

Их взяли на рассвете, когда тропа сужалась между двумя скальными выступами и бежать стало некуда. Селим наблюдал сверху, с гребня, пока его люди — восемь сипахи в тёмных плащах — окружали троицу. Всё заняло меньше минуты. Двое опустились на колени сразу, едва увидев клинки. Старший попытался добраться до пистоля за поясом, но получил удар рукоятью сабли и упал лицом в пыль.

Его привели в чувство водой из ручья. Лицо у пленника оказалось обожжённым солнцем, скуластым, с жёсткой рыжеватой бородой и глазами, в которых не было страха. Вообще. Селим видел такие глаза у дервишей, у блаженных, у тех, кто искренне верит, что конец земного пути есть дверь, а не стена. Красная повязка — двенадцатиугольная шапка с полосами, символ двенадцати имамов — сбилась набок, но человек не поправил её, даже когда ему развязали руки для допроса.

— Имя, — сказал Селим.

— Раб Шаха Исмаила, — ответил пленник. Голос ровный, спокойный, почти весёлый.

— Имя, которое дала тебе мать.

— Мать назвала меня Ахмедом. Но это имя умерло, когда я увидел лицо Муршид-и Камиля, Совершенного Наставника. Теперь у меня нет имени. Есть только служение.

Селим присел перед ним на корточки. Между ними лежало то, что нашли в сумке шпиона: связка писем, свёрнутая карта с отмеченными деревнями, мешочек с серебряными монетами. И стихи. Три листа, исписанных мелким, красивым почерком на тюркском. Стихи Хатаи — поэтический голос Шаха Исмаила.

— Что ты делал в наших деревнях? — спросил Селим.

— Нёс свет.

— Какой свет?

— Свет истины. Свет Али. Свет двенадцати имамов. Свет того, кто послан Аллахом, чтобы исправить мир.

Голос шпиона окреп. Он говорил как проповедник на площади: отрепетированно, вдохновенно, с блеском в глазах, который Селим видел у фанатиков всех мастей и который пугал его больше любого клинка. Потому что клинок можно отбить, а веру — нельзя.

— Шах Исмаил, — сказал Селим. — Расскажи мне о нём.

— Он солнце, а мы его лучи. Он меч Аллаха, а мы его тень. Он бессмертен, ибо в нём течёт кровь Пророка и двенадцати имамов. Ни одна стрела не коснётся его, не причинит вреда. Те, кто идут за ним, войдут в рай. Те, кто стоят против, будут наказаны.

— Ты веришь в это?

Шпион улыбнулся — светло, почти по-детски.

— Я знаю это, — сказал он. — Как знаю, что солнце встаёт на востоке. Ты можешь меня остановить, эфенди. Но ты не можешь уничтожить то, что уже живёт в каждой деревне от Сиваса до Токата. Мы везде. И нас всё больше.

Селим встал, потёр переносицу привычным жестом, посмотрел на горы, за которыми поднималась новая держава — молодая и голодная. Повернулся к сипахи:

— Увести. Кормить. Не бить. Он мне ещё понадобится.

За тысячу фарсахов на востоке, в городе, который пах розовой водой и тяжёлым воздухом, Шах Исмаил сидел на ковре и писал стихи.

Ему было семнадцать. Или девятнадцать. Или двадцать один — точный возраст менялся в зависимости от того, кому он говорил и зачем. Исмаил давно понял: возраст, как и всё остальное, есть инструмент. Молодость внушает трепет. Юноша, разбивший армии и основавший царство, страшнее старика, сделавшего то же самое. Потому что у старика за плечами опыт, а у юноши — нечто большее: вера в собственную избранность.

Он был красив. Высокий, тонкий, с длинным лицом и огромными чёрными глазами, в которых горело нечто такое, от чего люди либо падали на колени, либо отступали на шаг. Волосы, тёмные и густые, падали на плечи из-под красной шапки с двенадцатью полосами, и он носил их свободно — как носят поэты и безумцы, не заботясь о том, что скажут муллы.

Тебриз покорился ему год назад. До этого была Шемаха, до Шемахи — Баку, до Баку — череда горных крепостей, каждая из которых открывала ворота, не дожидаясь штурма, потому что гарнизоны переходили на его сторону при одном звуке его имени. Исмаил. Шах. Муршид-и Камиль. Тень Бога на земле.

Комната, в которой он сидел, была просторной и почти пустой: ковёр, подушки, медная жаровня с углями, запах сандала. На стене висел меч — клинок, по преданию, выкованный из метеорита. Исмаил верил в это. Он верил во многое, что другие сочли бы безумием, и именно эта вера делала его непобедимым.

Перо скользило по бумаге, строки ложились легко, как дыхание:

Я тот, в чьих жилах течёт свет Али. Я Хатаи, и мир склоняется предо мной. Кто поднимет меч против меня, тот поднимет меч против Бога.

Он перечитал написанное, улыбнулся. Стихи были не о гордости. Стихи были о правде — так, как он её понимал. Аллах избрал его, род его восходил к Пророку через семь колен, двенадцать имамов вели его за руку из битвы в битву, из победы в победу. Каждая капля пролитой крови была жертвой, освящённой свыше.

Вошёл человек — низкий, бесшумный, с лицом, наполовину скрытым шарфом. Один из «федаинов», готовых пожертвовать собой по одному слову шаха.

— Повелитель. Гонец из Анатолии. Просит аудиенции.

Исмаил отложил перо.

— Пусть войдёт.

Гонец был пыльным, измождённым, с лихорадочным блеском в глазах. Он упал на колени и поцеловал край ковра.

— Мой шах. Тринадцать деревень в области Токат приняли вашу проповедь. Ещё семь колеблются, но к весне склонятся. Люди ждут вашего слова.

Исмаил кивнул. Лицо его не выразило ни радости, ни удивления — словно ему сообщили, что солнце взошло.

— Что губернатор Трабзона?

— Беспокоен, мой шах. Шлёт разведчиков. Перехватил двоих наших на перевале.

— Селим, — произнёс Исмаил, и в голосе его прозвучало что-то похожее на любопытство. Не презрение, не страх — именно любопытство, как у охотника, впервые увидевшего зверя, о котором слышал от других. — Сын Баязида. Говорят, он пишет стихи.

— Говорят, мой шах.

— Интересно. Поэт на границе. — Исмаил взял перо, повертел в пальцах. — Поэты понимают больше, чем полководцы. Это делает его опаснее. И интереснее.

Он махнул рукой, отпуская гонца, потом сел, поджав ноги, и уставился на угли в жаровне — красные, мерцающие, как глаза зверя в темноте.

Селим. Запомнить имя.

Донесение было длинным. Четыре листа плотной бумаги, исписанных почерком Селима — мелким, угловатым, нетерпеливым, словно перо не успевало за мыслью. Он писал в покоях крепости Трабзона при свете трёх свечей, макая перо в чернильницу так часто, что на бумаге расплывались кляксы, и не стирал их — содержание было важнее формы.

«Повелителю моему, отцу моему, Султану Баязиду Хану. Довожу до сведения, что восточные границы санджака находятся под угрозой. Агенты Шаха Исмаила Сефевии проникают в Анатолию в числе, не поддающемся точному учёту. Мною лично перехвачены семеро за текущий год. При допросе установлено: их задача — не разведка, а обращение подданных Великой Порты в шиитскую ересь. Деревни в областях Токат, Сивас, Амасья подвержены их влиянию. Прошу разрешения на увеличение гарнизона и проведение облав...»

Он писал ещё час. О численности кызылбашей, о маршрутах проникновения, о настроениях среди туркменских племён, которые веками жили на границе и теперь всё чаще поворачивались лицом к востоку. О том, что Исмаил не просто мятежник, а строитель державы, которая через десять лет будет угрожать самому существованию Османского государства. Запечатал, отправил с надёжным гонцом — из тех, кого знал лично.

Ждал.

Прошла неделя, две, месяц. Горы зазеленели, потом пожелтели, потом побелели от первого снега. Ответ пришёл, когда Селим уже перестал его ждать. Короткий — три строки на бумаге с султанской тугрой.

«Сыну нашему Селиму. Повелеваем: не предпринимать действий, могущих нарушить мир с восточным соседом. Соблюдать осторожность. Избегать провокаций».

Селим прочитал трижды. Положил лист на стол, вышел на стену крепости, где ветер с моря бил в лицо — мокрый, злой. Простоял до темноты, сжимая челюсти так, что к ночи заныли зубы. Не предпринимать. Соблюдать. Избегать. Три слова труса. Или мудреца. Но Селим не видел разницы. Не сейчас — когда на восточной границе тлел пожар, который через год станет неуправляемым.

Он вернулся в покои, сел за стол, взял лист ответа и аккуратно сложил его вчетверо, потом убрал в шкапулку с перепиской. Не порвал, не сжёг — сохранил. Потому что наступит день, когда он предъявит этот лист отцу. И спросит: «Вот что ты написал, пока империя горела. Ты помнишь?»

Шпиона он допрашивал ещё дважды. На третьем допросе, после того как кызылбаш неделю просидел в каменной клетке и вкус сухого хлеба стал единственным вкусом его жизни, Селим принёс ему горячий плов, миску айрана и кувшин чистой воды. Поставил перед ним и сел напротив, скрестив ноги.

Шпион ел жадно, обжигая пальцы, рис сыпался в бороду. Селим ждал терпеливо — как ждёт рыбак, знающий, что рыба клюнет, нужно лишь время.

— Расскажи мне про маршрут, — сказал Селим, когда миска опустела. — Не тот, которым ты шёл. Тот, которым тебя отправили.

— Я уже говорил. Через перевал Зигана, потом на юг...

— Нет. Я спрашиваю про другое. Ты шёл через османские земли три недели. Три недели по дорогам, где стоят наши заставы. Ни одна тебя не остановила. Почему?

Шпион замолчал. Впервые за все допросы в его глазах мелькнуло что-то похожее на сомнение.

— Почему? — повторил Селим. — У тебя красная повязка на голове, тебя видно за сто шагов. Ни одна застава, ни один дозор. Как?

Молчание.

— У тебя был проводной лист, — сказал Селим. — Бумага, которая открывала двери. Кто её дал?

Шпион опустил глаза. Пальцы, перепачканные рисом и жиром, вцепились в край миски.

— Я не знаю имени. Мне дали бумагу в Тебризе. Сказали: покажешь на заставах — пропустят.

— Где бумага?

— Я сжёг. Перед тем как вы взяли нас на перевале.

Селим кивнул, встал, вышел. На пороге остановился и сказал, не оборачиваясь:

— Ты плохо жжёшь.

Потом пошёл в комнату, где хранились вещи пленных. Разложил на столе пояс шпиона — кожаный, потёртый, с медной пряжкой. Осмотрел швы, провёл пальцем по внутренней стороне. Нащупал уплотнение. Ножом, тем самым, который когда-то принадлежал ночному гостю в Трабзоне и который Селим хранил как напоминание, он вспорол подкладку.

Бумага выпала на стол — сложенная вчетверо, помятая, но целая. Селим развернул её, поднёс к свече. Почерк был чужим, казённым, безликим, текст коротким: «Подателю сего обеспечить беспрепятственный проход через земли Великой Порты». И печать. Не сефевидская, не пограничная, не местная. Тугра высшего визиря Османской империи.

Селим смотрел на печать, и свеча потрескивала, роняя воск на стол, и тень его руки дрожала на стене, хотя сама рука была неподвижна. Тугра — три хвоста вязи, уверенной и тяжёлой. Он узнал бы её из тысячи, потому что видел на каждом документе, приходившем из Стамбула.

Визирь отца. Второй человек в империи. Человек, сидящий по правую руку от султана на заседаниях дивана. Этот человек выписывал пропуска сефевидским шпионам. Не просто лень, не просто слепота — измена.

Селим аккуратно сложил бумагу и убрал в ту же шкатулку, где лежал ответ отца. Два документа рядом: отцовское «не провоцировать» и визирское «пропустить чужака».

Он сел за стол, налил себе кофе из медного джезве, стоявшего на углях. Кофе был горьким, густым, почти чёрным. Он пил его маленькими глотками и думал.

Враг на востоке — молодой, прекрасный, верящий в свою божественность шах, который пишет стихи и строит империю на обломках. Предатель в Стамбуле — человек, носящий печать доверия и продающий это доверие за неизвестную цену. И отец — султан, повелитель правоверных — который пишет «соблюдать осторожность», пока его собственный визирь открывает ворота врагу.

Слеп ли он? Или видит и молчит? Что хуже?

Селим допил кофе. Гуща на дне была тёмной, как дорожная грязь. Он перевернул пиалу, как делают гадалки, и на блюде растеклась чёрная клякса, похожая на карту. Или на трещину.

Империя слабела. И те, кто должен был её скреплять, расшатывали её изнутри. А он, один, на далёкой границе, мог только писать донесения, которые никто не читал, и ловить шпионов, которых никто не останавливал.

Свеча догорела. Селим сидел в темноте, и горечь кофе на языке мешалась с другой горечью, для которой не было названия. Только вкус — тяжёлый, кислый, как железо, как металл, как бессилие, которое однажды станет яростью.

Глава 4. Молчание отца

Запах жасмина разбудил его раньше азана. Тонкий, сладковатый, он проникал из внутренних комнат, где Хафса держала кусты в глиняных горшках и поливала их каждое утро, разговаривая с ними, как с детьми. Селим лежал с закрытыми глазами и слушал: плеск воды, тихое позвякивание кувшина о край горшка, её шаги — мягкие, босые, по каменному полу. Потом её голос, негромкий, обращённый не к нему:

— Сулейман. Вставай. Солнце уже выше минарета.

Ворчание мальчика, шорох одеяла. Снова её голос — теперь с улыбкой, которую Селим не видел, но слышал:

— Вставай, вставай. Отец давно проснулся.

Отец не проснулся. Отец не засыпал. Но Хафса знала это и всё равно говорила «давно проснулся», потому что бессонница мужа была тем, о чём не говорят при детях. Как война. Как донесения. Как письма из Стамбула, от которых у Селима напрягались пальцы.

Он открыл глаза. Потолок его спальни в Трабзоне был низким, каменным, с тёмным пятном копоти над тем местом, где зимой ставили жаровню. Привычный потолок, привычная трещина, похожая на реку на карте, привычный холод утреннего камня. Непривычным было только это: мир и покой. Запах жасмина вместо запаха костра, голос жены вместо доклада разведчика, утро, в котором не нужно было никого спрашивать, ловить, преследовать. Он знал, что это ненадолго.

Айше Хафса Султан была из тех женщин, чья красота не бросается в глаза, а проступает медленно — как узор на ковре, который замечаешь только на третий, четвёртый, пятый взгляд. Круглое лицо с мягкими скулами, тёмные глаза, спокойные и внимательные, как у человека, привыкшего слушать больше, чем говорить. Руки её всегда в движении: поправляют складку на одежде, убирают прядь за ухо, ломают лепёшку, наливают чай. Она не могла сидеть без дела, и эта деятельная тишина — привычка заполнять пустоту не словами, а заботой — была тем, что удерживало дом на плаву, пока муж боролся с миром.

Ей было тридцать четыре. Двадцать лет с Селимом, из которых половину он провёл на границе, в дозорах, в седле. Она ждала, растила сына, вела хозяйство. Не жаловалась — не потому что не умела, а потому что понимала: её жалобы лягут на плечи, которые и без того несут больше, чем положено одному человеку.

Завтрак был простым: лепёшки, мёд, белый сыр, оливки. Хафса разложила всё на медном подносе и поставила на низкий стол у окна, откуда было видно море. Селим сел, скрестив ноги, и потянулся к лепёшке. Хафса налила ему кофе — не спрашивая: она знала, что он пьёт его первым, до еды, горьким, без сахара, почти обжигающим.

— Ты опять не спал, — сказала она. Не вопрос — утверждение. Она видела по глазам, по тени под скулами, по тому, как он подносил пиалу ко рту: осторожно, медленно, словно боялся расплескать не кофе, а самого себя.

— Спал, — соврал Селим.

Хафса посмотрела на него тем взглядом, каким матери смотрят на детей, пойманных с вареньем на подбородке. Не укоризна — нежная насмешка.

— Два часа. Может быть, три.

— Три, — сказал Селим и откусил лепёшку. Мёд был густым, тягучим, с привкусом горных трав. — Целых три.

Хафса села напротив. Не ела — смотрела, как ест он, и в глазах её было то выражение, которое Селим не видел ни у кого на свете: смесь любви, тревоги и чего-то ещё, похожего на

терпеливое знание. Словно она видела его насквозь — все замыслы, все страхи, всю ярость — и принимала это. Всё.

— Сулейман вчера стрелял из лука, — сказала она, меняя тему так мягко, что Селим не сразу заметил. — Попал в мишень с двадцати шагов. Шесть из десяти.

— Шесть? В его возрасте я попадал девять.

— В его возрасте ты не читал Ибн Сину.

Селим поднял бровь.

— Он читает Ибн Сину?

— Вторую неделю. Вчера спросил меня, почему кровь красная. Я не знала. Он обиделся, что я не знаю. — Хафса улыбнулась. — Твой сын, целиком.

Селим промолчал. Горячий кофе грел ладони, и в этом утреннем свете, с запахом жасмина и мёда, с голосом жены, с мальчиком, который читает Ибн Сину и обижается на незнание матери, мир казался правильным. Простым. Безопасным. Иллюзия — но красивая.

Сулейман вошёл как вихрь: стукнул дверь, запнулся о порог, едва не опрокинул поднос. Тринадцать лет — длинный, нескладный, с отцовскими тёмными глазами и материнским мягким ртом. Руки и ноги слишком длинные для тела, как у жеребёнка, который ещё не научился ими управлять.

— Отец. — Он остановился посреди комнаты, переминаясь с ноги на ногу, не зная, куда деть руки. — Доброе утро.

— Доброе, — сказал Селим.

Пауза. Мальчик хотел что-то сказать, но не решался. Хафса, сидевшая у стены, едва заметно кивнула ему: давай.

— Отец. Я прочитал, что Ибн Сина писал о болезнях глаз. Он говорил, что глаз видит потому, что из него выходит свет. Но это неправильно. Если бы свет выходил из глаз, мы бы видели в темноте. А мы не видим. Значит, свет входит снаружи. Ибн Сина ошибся?

Селим смотрел на сына. Мальчик стоял перед ним серьёзный, сосредоточенный, с чернильным пятном на указательном пальце и крошкой лепёшки в углу рта, и ждал ответа, как ждут приговора.

— Ибн Сина был великим учёным, — сказал Селим медленно. — Но великий не значит безошибочный. Тот, кто замечает ошибки великих, сам стоит на пути к величию.

Лицо мальчика вспыхнуло. Не от похвалы — Селим редко хвалил, и сын был к этому приучен, — а от того, что отец услышал. По-настоящему услышал.

— Можно мне прочитать ещё? — спросил Сулейман. — У него есть книга о лекарствах. Мне говорили, она в библиотеке.

— Можно, — сказал Селим. — Но после стрельбы. Шесть из десяти — мало. Я хочу восемь.

Мальчик кивнул, развернулся и вылетел из комнаты с той же скоростью, с какой влетел. Дверь хлопнула, поднос звякнул. Хафса покачала головой.

— Ему бы замедлиться, — сказала она.

— Нет, — ответил Селим тихо. — Пусть спешит. Пусть спешит, пока может.

Хафса посмотрела на него. Улыбка исчезла с её лица. Она слышала в его голосе то, что он не сказал: что спешить можно только в детстве, что потом жизнь замедлится сама — придавленная тяжестью решений, от которых нельзя отвернуться. Она протянула руку и положила на его запястье. Ладонь была тёплой, сухой, лёгкой. Селим не отстранился, не пошевелился. Просто сидел, чувствуя её прикосновение, как чувствуют солнечный луч в холодный день: не хватает сил отойти.

Гонец прибыл к полудню. Селим узнал его по стуку копыт: загнанный конь ступает иначе — тяжело и неровно, словно спотыкается на каждом шагу. Он вышел на галерею и увидел всадника, спешившегося у ворот: пыльного, измотанного, с кожаным тубусом на ремне через плечо. Тубус с печатью дивана.

Письмо было коротким. Короче, чем предыдущие. И тяжелее.

«Сыну нашему Селиму. Повелеваем: немедленно отозвать разведывательные отряды с восточных перевалов. Прекратить допросы задержанных подданных восточного соседа и отпустить тех, кто содержится ныне. Не предпринимать никаких действий, которые могут быть истолкованы как провокация. Мир с Сефевидской державой есть залог стабильности. Неповиновение будет расценено как мятеж».

Мятеж. Отец впервые употребил это слово.

Селим прочитал письмо стоя, в коридоре, не дойдя до своих покоев. Прочитал второй раз, третий. Буквы расплывались не от слёз, а от ярости, которая подступала к горлу — горячая, тесная, как тяжёлый ком. Отозвать разведчиков, тех самых, которые три месяца назад перехватили шпиона с визирской печатью. Отпустить задержанных — тех самых фанатиков, которые вербовали османских подданных в армию чужого шаха. Мир с державой, которая открыто готовилась поглотить Анатолию. Мятеж — за попытку защитить границу.

Он вошёл в покои, закрыл дверь, сел за стол, положив письмо перед собой. Руки лежали на столе плоско, ладонями вниз, и он смотрел на них, словно они были чужими. Пальцы, которые сегодня утром держали пиалу с кофе, пока Хафса улыбалась, а Сулейман спрашивал про Ибн Сину. Те же пальцы. Тот же день. Но мир за окном стал другим.

Дверь открылась без стука. Так входила только Хафса. Она увидела его лицо и остановилась на пороге.

— Что? — спросила она.

Селим молча подвинул к ней письмо. Хафса прочитала — не быстро, водила глазами по строкам медленно, как читают приговор. Потом положила лист обратно.

— Он боится, — сказала она.

— Он слеп.

— Нет. Он боится. Это разные вещи, Селим.

Она села рядом — не напротив, как за завтраком, а рядом, плечом к плечу, как садятся люди, которые готовятся вместе нести тяжесть.

— Твой отец пережил войну с Джемом. Он знает, что такое раскол. Он боится его больше, чем любого врага.

— И поэтому открывает ворота врагу?

— И поэтому пытается сохранить мир любой ценой.

— Любой ценой, — повторил Селим, и голос его стал таким, что Хафса чуть отстранилась. Не от страха — от боли. Потому что она знала этот голос: глухой, ровный, лишённый всего, кроме решимости. Голос, после которого начинаются вещи, которые нельзя остановить.

— Селим.

Он повернулся к ней.

— Не делай того, о чём пожалеешь, — сказала Хафса. — Он твой отец.

— Он мой султан. И он разрушает мою страну.

— Твою? Или его?

Вопрос повис в воздухе, как запах жасмина, который всё ещё тянулся из внутренних комнат — сладкий и неуместный. Селим не ответил. Потому что ответ был такой, какой нельзя произносить вслух. Даже перед женой.

Хафса встала, провела ладонью по его плечу — коротко, легко, как проводят по спине ребёнка, которого невозможно утешить.

— Я буду рядом, — сказала она от двери. — Что бы ты ни решил.

Дверь закрылась. Запах жасмина остался.

Ночь пришла как спасение. В темноте не нужно притворяться, не нужно держать лицо. Можно сесть за стол, зажечь свечу и быть тем, кем он был на самом деле: не губернатором, не шахзаде, не воином — человеком, у которого болит.

Селим достал пергамент, чернильницу, перо. Привычные вещи, привычные движения: обмакнуть кончик, стряхнуть лишнее, поднести к листу. Рука замерла над бумагой. Строка пришла не сразу, но когда пришла, была точной, как удар:

Я посадил розу в каменистой земле, и она выросла, обвинившись шипами вокруг моих рук. Я не могу её отпустить, потому что это любовь. Я не могу её сжечь, потому что это боль.

Он перечитал. Хорошо. Или плохо. В этот час было всё равно. Важно было не качество, а то, что перо очищает — как говорил ходжа Мехмед: очищает то, что пачкает меч. Написал ещё одну газель. И ещё. Свеча оплавляла, воск стекал на стол, и в комнате пахло нагретым пергаментом и чернилами. Рука двигалась, и с каждой строкой ярость отступала, уходила куда-то вглубь — не исчезая, но уплотняясь, превращаясь из кипящего потока в ледяной камень.

К середине ночи стихи кончились. Ярость осталась — холодная и твёрдая, как сердцевина клинка.

Селим отложил перо. Взял со стола письмо отца. Перечитал в последний раз: *«Неповиновение будет расценено как мятеж»*. Пальцы нашли сургучную печать — круглую, гладкую, с оттиском султанской тугры. Тугра Баязида II. Подпись отца. Знак власти, которой Селим присягал при рождении.

Он сжал кулак.

Сургуч хрустнул. Не громко — негромкий, сухой звук, как хруст ветки под ногой. Осколки впились в ладонь, и он почувствовал боль — мелкую, острую, почти приятную в своей определённости. Разжал кулак. На ладони лежали красные осколки и тёмные следы крови, и отличить одно от другого было невозможно.

Всё. Обратной дороги нет. Не потому что печать священна, не потому что сургуч не склеить. А потому что решение, которое зрело в нём годами — от Амасьи, от каравана беженцев, от ночного гостя, от кызылбашского шпиона, от писем, которые никто не читал, — это решение наконец затвердело. Превратилось из мысли в волю, из воли в судьбу.

Он больше не послушный сын. Он больше не тихий губернатор на краю империи. Он претендент. Соперник. Угроза.

За окном светало. Море меняло цвет — из чёрного в серое, из серого в стальное. Чайки начинали свой вечный крик. Где-то во внутренних комнатах Хафса поливала жасмин и тихо напевала колыбельную, хотя Сулейман давно вырос из колыбельных. Просто привычка. Просто любовь, которая не знает, что мир за стенами этого дома только что изменился.

Печать треснула в кулаке. И вместе с ней что-то треснуло между отцом и сыном — что-то, что уже никогда не склеится.

Селим сидел в темноте угасающей свечи и слушал, как за стеной жена напевает колыбельную сыну, который уже не ребёнок. Он не знал тогда, что это был последний мирный рассвет в его жизни. Что через несколько дней он покинет Трабзон, чтобы вернуться сюда только через тринадцать лет — султаном, завоевателем, человеком, который перешагнул через братьев и отца. И что жасмин Хафсы будет цвести без него, пока кто-то не перестанет его поливать.

Но всё это будет потом. А сейчас — только треснувшая печать на ладони, запах жасмина и решение, которое нельзя отменить даже молитвой.

Глава 5. Тень братьев

Донесение пришло в кожаном мешочке, зашитом суровой ниткой и пропахшем конским потом. Гонец, передавший его Хасану Джану в портовой чайной, исчез прежде, чем остыл чай в его пиале. Ни имени, ни лица: только мешочек, три слова условного пароля и спина, растворившаяся в базарной толпе.

Селим вскрыл мешочек ножом, тем самым, и развернул лист. Почерк незнакомый, мелкий, торопливый. Сведения точные. Кто-то в Стамбуле, близкий к дивану, рисковал головой, чтобы передать четыре строчки, от которых у Селима похолодело в груди.

«Шехзаде Ахмед принят отцом дважды за последнюю неделю. Визирь Али-паша открыто называет его наследником. Казначей перевёл в казну Амасьи триста кошельков золотом. Готовится назначение».

Триста кошельков. Деньги, на которые можно купить армию. Или верность тех, кто армию контролирует.

Селим положил лист на стол рядом с пиалой кофе. Кофе уже остыл и покрылся маслянистой плёнкой. За окном шумело море, чайки орала. Обычное утро в Трабзоне, если не считать того, что в это обычное утро его родной брат получил деньги на то, чтобы стать султаном. А значит, на то, чтобы Селим исчез.

Ахмеда Селим не видел семнадцать лет. Последний раз мельком, во дворце Топкапы, когда Селим ещё мальчиком приезжал в Стамбул на Байрам. Старший брат тогда показался большим, рыхлым, громким. Смеялся так, что дрожала посуда. Обнимал всех подряд, раздавал подарки слугам, играл с дворцовыми собаками. Придворные любили его, отец любил его, янычары терпели.

С тех пор Селим узнавал о брате только из донесений. Картина складывалась сложнее, чем детское воспоминание о громком смехе. Ахмед был умён. Не книжным умом Коркута и не военным умом Селима. Дворцовым умом. Он знал, кому улыбнуться, кого пригласить на охоту, кому подарить коня, кого продвинуть по службе. Вокруг Ахмеда сплеталась паутина обязательств и благодарностей. Каждая нить вела к человеку, который в нужный момент скажет нужное слово.

При Ахмеде были визири, мечтавшие управлять державой из-за спины покладистого султана. При нём были поэты, славившие щедрость брата. При нём были купцы, которым Ахмед обещал торговые привилегии.

Но при Ахмеде не было армии. Не настоящей. Ахмед никогда не командовал в бою. Не стоял на стене осаждённого города. Не засыпал в грязи походного лагеря, слушая, как стонут люди. Руки Ахмеда были мягкими, ухоженными, пахли розовой водой. Селим глядел на собственные руки с мозолями от поводьев и шрамом на костяшках, оставшимся с ночи нападения. Вот эти руки хотели взять державу. Руки, не знавшие тяжести сабли. Руки, которые подпишут мир с Исмаилом, потому что война это грязно, больно и невыгодно.

А потом подпишут приказ об устранении младшего брата. Потому что закон Фатиха.

Селим отодвинул пиалу. Кофе остыл окончательно.

О Коркуте Селим думал иначе. Думал, и это было хуже.

Шехзаде Коркут, средний брат, был тем, кем Селим мог бы стать, если бы мир был устроен по-другому. Поэт, музыкант, каллиграф. Человек, чьи трактаты о богословии переписывали в медресе от Бурсы до Дамаска. Человек, который однажды написал Селиму письмо, единственное за все годы. В письме не было ни слова о политике. Только стихи. Длинная касыда о том, как мотылёк летит на огонь, зная, что сгорит, и не может остановиться, потому что свет сильнее страха.

Селим хранил это письмо. Оно лежало в шкатулке, той самой, где хранились отцовские приказы и визирский пропуск для шпиона. Странное соседство: предательство и поэзия, запечатанные в одном ящике.

Коркут не хотел трона. Это знали все. Он жил в Анталье, окружённый книгами и музыкантами. Двор Коркута больше напоминал академию, чем резиденцию наследника. Визирь считали его безобидным. Янычары считали его слабым. Отец считал его учёным, а значит бесполезным.

Но закон Фатиха не делал исключений для учёных. «Тот из моих сыновей, кто вступит на престол, волен устранить своих братьев». Всех братьев. Не только тех, кто опасен. Не только тех, кто претендует. Всех. Потому что сегодняшний поэт может стать завтрашним знаменем мятежа, даже не по своей воле.

Селим закрыл глаза. Перед ним встало лицо Коркута, каким он помнил его по детству. Худое, тонкое, с длинными пальцами, вечно в чернилах. Мальчик, который в Амасье играл на уде так, что даже стражники замирали у дверей. Мальчик, который однажды сказал маленькому Селиму: «Зачем тебе меч? Перо служит дольше».

Перо служит дольше. Может быть. Но перо не защитит, когда придут с мечом.

Селим открыл глаза, потёр переносицу. Встал, подошёл к окну. Море было серым, беспокойным, на горизонте собирались тучи. Если Ахмед станет султаном, Селима не станет. Это простая арифметика, в которой нет места чувствам. Если Селим станет султаном, Коркут... Мысль оборвалась. Селим не дал ей закончиться. Ещё не время.

Человек появился в чайной через три дня после донесения. Хасан Джан узнал его по знаку: медная монета, положенная на стол орлом вверх. Условный сигнал, о котором Селиму рассказали люди, чьих имён он не спрашивал.

— Они хотят встретиться, — сказал Хасан Джан, войдя в покои Селима тем же вечером. Лицо друга было непроницаемым, но голос выдавал беспокойство. Чуть выше обычного, чуть быстрее.

— Кто?

— Аги. Трое. Просят лес у дороги на Мачку. Завтра, после ночной молитвы.

Селим ходил по комнате. Три шага к стене, три обратно. Привычка раздражала Хасана Джана и успокаивала самого Селима.

— Ты знаешь, кто они?

— Нет. Но монета настоящая. Тот, кто её дал, знал условие. А условие знают только те, кто внутри.

Внутри янычарского корпуса. Десятки тысяч воинов, элита империи, сила, которая ставит и свергает султанов. Без янычар невозможно ничего. С ними возможно всё.

— Я поеду, — сказал Селим.

Хасан Джан помолчал. Потом сказал то, что говорил всегда, когда считал решение опасным:

— Это может быть ловушка.

— Может.

— Ахмед мог подослать их.

— Мог.

— Если тебя схватят в лесу на тайной встрече с янычарами, отец не станет разбираться. Это будет мятеж. Настоящий.

Селим остановился, посмотрел на друга. Хасан Джан стоял у двери, невысокий, крепкий, с тем самым выражением, которое Селим видел на его лице в портовой чайной тринадцать лет назад: одновременно насмешливое и печальное.

— Я поеду, — повторил Селим. — Ты со мной?

Хасан Джан вздохнул. Негромко, как вздыхают люди, привыкшие к тому, что их предупреждения не слышат.

— Я всегда с тобой. Даже когда ты ведёшь себя как безумец.

Лес начинался в часе езды от Трабзона, там, где горная дорога на Мачку ныряла в ущелье. Дубовые кроны смыкались над головой, превращая тропу в тоннель. Ночью здесь темно, как в чреве кита. Луна не пробивалась сквозь листву, единственным ориентиром служил запах: сырая земля, прелые листья, хвоя. И где-то далеко, едва уловимо, дым.

Селим ехал без свиты. Только Хасан Джан рядом, молчаливый, настороженный, с рукой на рукояти кинжала. Кони ступали мягко по влажной земле, звук копыт тонул в подушке из палых листьев.

Костёр они увидели раньше, чем людей. Рыжее пятно в темноте, низкое, почти задушенное. Те, кто развёл огонь, знали своё дело: костёр давал жар, но почти не давал света. Экономно. По-военному.

Их было трое. Сидели вокруг костра на корточках. Когда Селим спешился и вышел на свет, ни один не встал. Не поклонился. Не назвал по имени. Просто смотрели, оценивая, как оценивают коня перед покупкой: зубы, ноги, хребет.

Старший, массивный, с бритой головой и шрамом поперёк левой брови, кивнул на место у костра:

— Садись.

Не «мой господин». Не «шехзаде-эфенди». Просто «садись». Янычары не признавали чинов, пока чин не доказан кровью.

Селим сел. Жар костра ударил в лицо, на секунду глаза ослепли, привыкнув к темноте. Когда зрение вернулось, разглядел лица. У старшего, помимо шрама, раздвоенная борода, седая, жёсткая, как проволока. У второго, помоложе, не хватало двух пальцев на левой руке: среднего и безымянного, старая рана, аккуратно зажившая. Третий совсем молод, лет двадцати пяти, но глаза старые, потухшие, как у человека, видевшего слишком много потерь.

— Ты знаешь, кто мы, — сказал старший. Не вопрос.

— Аги янычарского корпуса, — ответил Селим.

— Ты знаешь, зачем мы здесь.

— Знаю.

— Тогда говори ты первым.

Тишина. Костёр потрескивал. Где-то в чаще ухнула сова, звук утробный и тоскливый повис над поляной, как дурное предзнаменование.

Селим заговорил. Тихо, ровно, без пафоса. О том, что знали все, но никто не говорил вслух. Империя слабеет. Баязид стар и нерешителен. На востоке Сефевиды пожирают Анатолию изнутри, через проповедников и шпионов. На западе Европа ждёт момента, чтобы ударить. Казна тает. Армия ржавеет от безделья. Ахмед, если придёт к власти, будет марионеткой визирей, которые продадут империю по частям.

Старший слушал, не мигая. Двупалый чистил ногти кинжалом. Молодой смотрел в огонь. Когда Селим замолчал, старший сплюнул в костёр. Плевков зашипел на углях.

— Мы знаем всё это, — сказал он. — Мы не за сказками пришли. Мы пришли за делом.

— Говори, — сказал Селим.

— Корпус устал от Баязида. Устал от мира, который не мир, а гниение. Нам нужен султан, который поведёт в поход. Который платит жалованье вовремя. Который не прячется за визирями.

Двупалый поднял голову:

— Ахмед слаб. Его визири продажны. Если Ахмед сядет на трон, через пять лет от империи останутся объедки.

— А Коркут, — добавил молодой тихо, — Коркут просто сдастся.

Селим слушал. Лицо каменное, освещённое снизу, тени прыгают по скулам, делая его похожим на маску.

— Чего вы хотите от меня? — спросил Селим.

Старший посмотрел ему в глаза. Долго. Прямо.

— Мы хотим, чтобы ты стал султаном. И мы можем это устроить. Когда придёт время, корпус встанет за тебя. Перевернём котлы, перекроем дорогу Ахмеду, скажем своё слово. Баязид отречётся. Или будет вынужден отречься.

Пауза.

— Но, — сказал старший, и голос его стал тяжёлым, как мокрая земля, — у нас есть условие.

Костёр затрещал. Искры взлетели в чёрное небо и погасли, не долетев до веток.

— Говори, — сказал Селим.

— Когда ты сядешь на трон, ты исполнишь закон Фатиха. Полностью. До последней буквы. Нам не нужен султан, у которого за спиной бродят живые братья. Братья, за которых завтра поднимет знамя любой недовольный паша.

Тишина.

— Все? — спросил Селим. Голос не изменился. Ни на полтона.

— Все, — сказал старший. — Ахмед. Коркут. Племянники. Все, кто по крови может сесть на трон. Так велит закон. Так будет порядок. Без этого мы не пойдём за тобой. Незачем менять одну слабость на другую.

Ветер прошёл по верхушкам деревьев, кроны зашумели, как далёкое море. Костёр пригнулся, едва не погас, и на секунду темнота сомкнулась вокруг них, плотная, глухая, как стены каменной клетки.

Коркут. Мальчик с удом. Мальчик, который говорил: «Зачем тебе меч?» Мальчик, который вырос в учёного, пишущего трактаты и стихи, и не желал чужих страданий. Но закон не делает исключений.

Хасан Джан стоял за деревьями в темноте и ничего не слышал. Но когда Селим вышел к нему, он увидел лицо друга при свете догорающего костра и не стал спрашивать. Бывают лица, которые говорят больше любых слов.

Они ехали обратно молча. Лес вокруг дышал влагой и тьмой, ветки хлестали по лицу, оставляя мокрые полосы, похожие на следы слёз. Кони шли шагом. Торопиться некуда.

На полпути к Трабзону Хасан Джан нарушил молчание:

— Плохо?

Селим не ответил. Смотрел перед собой в темноту, которая расступалась перед конём и тут же смыкалась за спиной.

— Селим.

— Они сказали свою цену.

— Какую?

Молчание. Долгое. Густое. Такое, в котором слышно, как бьётся сердце.

— Такую, какую я пока не готов произнести вслух.

Хасан Джан не стал настаивать. Знал: когда Селим молчит, он думает. А когда Селим думает, мешать ему опаснее, чем стоять на пути селевого потока.

Они выехали из леса перед рассветом. Трабзон лежал внизу, тёмный, спящий, с редкими огнями в порту. Море чёрное, без единого блика, словно кто-то вылил на него ведро чернил.

Селим спешил, привязал коня к дереву, сел на камень. Тот же камень на обочине, на котором однажды, давным-давно, сидел мальчиком, глядя на город, ставший первым домом.

Огонь. Он всё ещё видел огонь. Костёр в лесу, лица янычар, искры, летящие в чёрное небо. И слова. «Все. Ахмед. Коркут. Племянники. Все». Либо он, либо братья. Либо порядок, либо хаос. Либо трон, либо смерть. Выбор казался простым и невозможным одновременно.

Селим сидел на камне и смотрел на город. Где-то на дне души, там, где клятва амасийского мальчика ещё горела ровным, упрямым огнём, ответ уже был готов. Был готов давно. Может быть, с той самой ночи, когда караван беженцев прошёл по дороге мимо одиннадцатилетнего ребёнка. Женщина с неподвижным свёртком на руках посмотрела на него пустыми глазами. И пошла дальше.

Он не произнёс ответа. Не кивнул. Не сказал «да» ни вслух, ни шёпотом. Просто сидел и смотрел, как небо над Трабзоном медленно сереет. Первые чайки вылетают из-под обрыва. Город просыпается, не подозревая, что на камне у дороги сидит человек, от решения которого зависит, будут ли жить его братья.

Рассвет был холодным. Ветер пах морем и хвоей. Тишина, которой Селим ответил на вопрос янычар, оказалась громче любого крика.

Глава 6. Первый поход без приказа

Селим отдал приказ на рассвете. Туман ещё лежал в ущелье, как молоко в чаше. Солнце только тронуло вершины гор розовым, нерешительным светом.

Войско стояло в строю. Три тысячи сипахи верхом, пятьсот янычар пешими, два десятка лёгких пушек на повозках. Кони переступали с ноги на ногу. Звон удил, скрип кожи, глухое позвякивание кольчуг сливались в один непрерывный, тревожный гул. Таким гулом встречает пчелиный рой приближающуюся грозу.

Селим выехал перед строем на гнедом жеребце. Коня звали Йылдырым, Молния. Жеребец нервничал, горячился, под стать хозяину: косил глазом, грыз удила, рвался вперёд. Селим удерживал животное одной рукой. Второй сжимал свёрнутый в трубку пергамент. Последний приказ из Стамбула. «Не предпринимать. Соблюдать. Избегать».

Селим поднял пергамент над головой. Войско затихло. Три тысячи пар глаз смотрели на губернатора Трабзона. Худого, жилистого человека с впалыми щеками и тёмными кругами под глазами. Человека, сидевшего в седле так, словно родился в нём.

— Вот приказ султана, — сказал Селим. Голос негромкий, но в утренней тишине разносился далеко, отражаясь от скал. — Приказ, который велит мне сидеть в крепости, пока враг грабит наши деревни, нападает на наших людей и смеётся над нами.

Пауза. Кто-то в строю кашлянул. Конь Селима фыркнул и тряхнул гривой.

— Я получил этот приказ, — продолжил Селим. — Прочитал его. Сегодня нарушу.

Селим разорвал пергамент пополам. Ключья полетели вниз, белые на фоне серых камней. Ветер подхватил бумагу, закружил, унёс в ущелье. Строй молчал. Три тысячи человек задержали дыхание.

— Кто хочет вернуться в крепость и ждать, пока за нами придут, может развернуть коня. Не остановлю. Не накажу. Не назову трусом. Каждый выбирает сам. Но я иду вперёд. Один или с армией. Потому что впереди стоит человек, который отравил ваши колодцы. Который сжёг ваши деревни. Который посылал проповедников в ваши дома, чтобы ваши братья молились чужому богу. Этот человек считает, что мы повернём. Что мы слабы. Что мы сломаемся.

Селим замолчал. Развернул Йылдырыма на восток. Ни один конь не повернул. Ни один сипахи не шевельнулся. Войско двинулось за губернатором. Три тысячи молчаливых теней в утреннем тумане. Горная дорога вела в Грузию, к границе, за которой стояли сефевидские гарнизоны. Гарнизоны, не ждавшие удара.

Никто не ждал удара от человека, которому приказали сидеть тихо.

Марш занял четыре дня. Селим гнал войско без остановок для отдыха. Короткие привалы по два часа: люди падали прямо на землю, засыпали в доспехах. Через два часа горнист поднимал отряд. Солдаты вставали, шатаясь, и шли дальше.

Дорога вилась по горам. Узкая тропа петляла между скалами и лесами. Повозки с пушками застревали на поворотах. Сипахи спешивались и толкали тяжёлые лафеты плечами, упираясь ногами в мокрую землю. Воздух наполнился запахом конского пота, мокрой кожи и хвои. Ночью температура падала так низко, что вода в бурдюках покрывалась тонкой коркой льда. Утром солнце палило нещадно, доспехи раскалялись и жгли кожу сквозь рубаху.

Селим ехал впереди. Не из бравады, из расчёта. Войско, видящее спину командира, идёт быстрее войска, получающего приказы из тыла. Селим не спал вообще. Бессонница, старая спутница, в походе стала союзником. Пока армия отдыхала, Селим сидел у костра с картой. Рассчитывал маршрут, отмечал броды, перевалы, удобные места для засады.

Хасан Джан ехал рядом. Молчал. Не будучи воином, отстать не мог. Когда Селим спросил, зачем друг здесь, Хасан ответил коротко:

— Кто-то должен записать произошедшее. Для тех, кто потом будет спрашивать.

На третий день перехватили сефевидский разъезд. Пятеро всадников в красных повязках. Двоих взяли живыми, остальные ушли. Значит, через сутки сефевидский гарнизон узнает о приближении османов. Селим не замедлился. Ускорился.

Четвёртый день принёс столкновение в ущелье, которое местные называли Волчьей Пастью. Узкое, каменистое, с крутыми склонами, поросшими низким дубняком.

Сефевидский отряд ждал османов на выходе из ущелья. Около двух тысяч кызылбашской конницы, выстроенной клином. Красные шапки яркими пятнами выделялись на фоне серых скал. Противник знал, что Селим идёт. Не знал только, что Селим идёт так быстро.

Селим увидел сефевидов с гребня холма и остановил Йылдырыма. Конь захрапел, переступая на месте. Внизу, в ущелье, ждали два мира. Мир Селима и тот, другой, сефевидский. Между ними лежала полоска каменистой земли шириной в полёт стрелы.

Рядом тяжело дышал начальник артиллерии. Толстый, краснолицый Мустафа-ага всю дорогу проклинал горы, повозки, погоду и судьбу. Пушки доставил в целости.

— Ставь орудия на гребне, — приказал Селим. — Бей по центру клина. Когда рассыплются, я войду с флангов.

Мустафа-ага кивнул и полез вниз, к своим повозкам. Кричал на артиллеристов так, что голос, наверное, слышали и в сефевидском лагере.

Селим спешился, встал на краю гребня, посмотрел вниз. Кызылбашская конница ждала. Кони пританцовывали, всадники перекрикивались. Ветер доносил обрывки слов на тюркском, но с другим, персидским акцентом. Красные шапки сливались в сплошную багровую ленту. Яркую, тревожную, как полоса крови на белом камне.

Первый выстрел разорвал тишину.

Пушка рывкнула так, что Селим почувствовал удар звуковой волной в грудь. Земля дрогнула. Ядро ушло с воем и врезалось в центр сефевидского построения. Там, где только что стояли кони и люди, вырос столб земли, камней и пыли.

Второй выстрел. Третий. Орудия работали неровно, как сердце человека, бегущего в гору. Каждое ядро ложилось в гущу конницы. После каждого удара строй клина вздрагивал, как живое тело от ожога. Кони ржали, люди кричали, пыль поднималась стеной и закрывала солнце.

Селим ждал и считал. Ждал момента, когда клин треснет. Треснул на седьмом залпе. Центр рассыпался, всадники бросились в стороны, как рыба из прорванной сети. В середине образовалась брешь. Широкая, хаотичная, заваленная павшими конями и людьми.

— Сейчас, — сказал Селим.

Селим прыгнул в седло. Йылдырым рванулся вперёд без шпор, словно ждал этого мгновения четыре дня. Слева и справа хлынула конница. Селим оказался в потоке, несущемся вниз по склону, в пыль, в грохот, в хаос.

Бой не походил на рассказы ходжи Мехмеда. Не величественный, не красивый. Грязный, тесный, оглушающий. Первое, что ударило в сознание: запах. Порох, конский пот, тяжёлый запах крови. Что-то кислое, животное, общее для обеих сторон. Запах страха. Второе: звук. Лязг стали о сталь, хруст, который мог быть костью или деревом. Крик, сплошной, непрерывный. В этом крике невозможно отличить слова от стонов.

Селим врезался в сефевидский строй с левого фланга. Килидж в правой руке, поводья в левой, колени сжимают бока Йылдырыма. Первый удар пришёлся по кызылбашу, замахнувшемуся саблей. Селим отбил клинок противника и рубанул наотмашь. Лезвие встретило сопротивление и застряло. Селим рванул килидж на себя. Кровь брызнула на перчатку, горячая, липкая.

Мысли исчезли. Осталось только тело: мышцы, рефлексy, глаза, которые видели движение прежде, чем мозг успевал осознать. Удар слева, уклон, ответ. Удар справа, блок, ответ. Конь под Селимом двигался сам. Боевой жеребец знал, когда отпрянуть, когда развернуться, когда лягнуть.

Сколько длился бой? Минуту, час, вечность. Время перестало существовать, заменённое ритмом: удар, блок, удар, движение, удар. Пыль набилась в рот, на зубах скрипел песок. Привкус во рту медный, железный. Вкус страха и ярости, смешавшихся в одно целое.

Потом что-то изменилось. Давление ослабло. Кызылбаши начали отступать. Сначала по одному, потом группами, потом сплошной волной. Селим вдруг оказался в пустоте. Перед ним открылось поле, усеянное павшими. Враг бежал к перевалу, бросая оружие, бросая убитых, бросая надежду.

Селим натянул поводья. Ылдырым остановился, тяжело дыша. Бока коня покрылись мыльной пеной. Селим посмотрел на свои руки. Правая перчатка потемнела от бурых пятен. Левая разодрана, сквозь ссадины проступала краснота. Селим не помнил момента ранения.

Вокруг ещё звенела сталь. Ещё кричали люди. Где-то на краю поля двое сипахи заканчивали бой с упавшим кызылбашем. Пушки молчали. Мустафа-ага, если остался жив, больше не кричал.

Победа. Слово казалось странным, неуместным, как праздничная одежда в неподходящий момент.

Тишина наступила не сразу. Она пришла, как прилив: медленно, неотвратимо, заполняя пространство, из которого ушёл бой. Сначала стихли крики, потом звон оружия. Даже стоны раненых перешли в тихое, непрерывное бормотание. Бормотание напоминало молитву.

Селим спешился. Ноги подкосились, ухватился за луку седла, чтобы не упасть. Постоял, пережидая слабость. Потом отпустил седло и пошёл по полю.

Земля стала мокрой. Не от дождя. Трава, жёсткая горная трава, утром серо-зелёная, теперь бурая, скользкая. Под ногами хлюпало. Запах стоял такой, что Селим дышал ртом. Железо, внутренности, порох, горелое дерево от разбитого пушечного лафета.

Селим шёл между павшими. Не считал, не мог. Тела лежали вперемешку. Кызылбаши в красных шапках, сипахи в кольчугах, кони с раскинутыми ногами. Один конь ещё дышал. Лежал на боку и смотрел на Селима огромным, мокрым глазом. В глазу не было ни боли, ни страха. Только усталость. Бесконечная, нечеловеческая усталость.

Селим остановился. Опустился на колени прямо в грязь, не заботясь о кафтане. Сложил руки для молитвы. Губы двигались, но слов не было. Селим не знал, за кого молиться. За своих или за чужих. Была ли разница теперь, когда все лежали рядом, на одной земле, под одним небом, перед одним Богом.

Селим оставался на коленях долго. Когда встал, солнце стояло уже высоко. Поле блестело, как побитое градом зеркало. Осколки стали, лужи крови, клинки, пряжки, наконечники стрел ловили свет и бросали его обратно в небо.

Рядом стоял Хасан Джан. Селим не слышал, как друг подошёл. Лицо Хасана стало серым, как пепел. Руки, не привыкшие к крови, мелко тряслись. Хасан стоял, не отворачивался, не уходил.

— Сколько? — спросил Селим.

— наших двести семнадцать, — ответил Хасан Джан. Голос сухой, треснувший. — Их больше тысячи. Остальные бежали.

Двести семнадцать. У каждого имелось имя. У каждого ждала мать в какой-нибудь деревне. У каждого текла жизнь, которую Селим забрал своим приказом. Приказом, которого никто не отдавал. Который Селим отдал сам.

— Похоронить всех, — распорядился Селим. — Наших и их. По мусульманскому обряду. Всех.

Хасан Джан кивнул и ушёл. Селим остался стоять на поле. Грязный, залитый чужими следами, с разодранной перчаткой. Головная боль пульсировала в висках, как второе сердце.

Слово родилось вечером у костров. Селим не слышал, кто произнёс его первым. Может быть, один из сипахи, гревший руки у огня. Может быть, раненый, которому лекарь зашивал руку. Может быть, местный пастух, спустившийся с гор, чтобы посмотреть на поле боя, и увидевший тысячу тел.

— Явуз, — прошептал кто-то.

Потом второй, третий, десятый. Слово расползлось по лагерю, как огонь по сухой траве. От костра к костру, от палатки к палатке, от рта к уху, от уха к памяти.

Явуз. Грозный.

Селим услышал прозвище, когда вышел из шатра к ночному воздуху. Внутри пахло лекарствами и потом, голова раскалывалась. Двое сипахи у ближнего костра замолчали, увидев командира. Но поздно: Селим уже слышал.

Явуз.

Прозвище прилипло мгновенно, как клеймо на шкуре коня. Селим не выбирал его, не просил, не хотел. Но прозвище оказалось точным, как удар его собственного килиджа. Отрицать бессмысленно. Народ, давший имя, уже не заберёт его обратно.

Грозный. Тот, кого боятся. Тот, кто не спрашивает разрешения. Тот, кто приходит, когда не ждут, и бьёт, когда не готовы.

Селим вернулся в шатёр, сел на походную постель, потёр переносицу, закрыл глаза.

Селим стал Явузом. Уже не станет никем другим. Где-то внутри, за стальной маской, за гнедым конём, за грохотом пушек и грязью боевого поля, жил человек. Человек ночами писал стихи на фарси и хранил в шкатулке письмо брата о мотыльке, летящем на огонь. Этого человека никто не знал. Никто не должен узнать. Империи нужен Явуз. Поэту на границе нечего делать.

Селим лёг. Бессонница пришла, но впервые за годы Селим заснул мгновенно. Провалился в чёрный, глухой сон без сновидений. Как падают в колодезь: не успев испугаться.

Гонец из Стамбула прибыл через восемь дней. Селим только вернулся в Трабзон. Сидел в своих покоях, пил кофе, горький и густой, как всегда. Перечитывал список потерь. Хасан Джан вошёл без стука, бледный.

— Фетва, — сказал Хасан и положил на стол свиток с печатью шейх-уль-ислама.

Селим развернул бумагу. Текст короткий, как все приговоры. Суть: шехзаде Селим, губернатор Трабзона, самовольно нарушил приказ султана, начал военные действия без одобрения дивана, тем самым поставил державу под угрозу. Действия Селима объявлены мятежом. Шехзаде Селим лишается поста губернатора и вызывается в Стамбул для объяснений.

Для объяснений. Красивое слово. В переводе с языка дивана на человеческий: для суда. Или для петли. Или для того и другого.

Селим прочитал фетву дважды. Свернул аккуратно, по сгибам, положил рядом с пиалой кофе. Потом посмотрел на Хасана Джана.

— Восемь дней назад, — сказал Селим, — деревни на восточной границе впервые за три года спали без страха. Сефевидские шпионы бежали за перевал. Пастухи вернулись на горные пастбища, с которых их согнали кызылбашские проповедники. Восемь дней мира. Настоящего мира, а не того гниения, которое отец называет миром.

Селим отпил кофе.

— И за это меня объявили мятежником.

Хасан Джан молчал. Что тут скажешь?

За стеной крепости шумел город. Трабзон, его Трабзон. Город, который Селим поднял из грязи и коррупции. Город, по рынку которого ходил переодетым мальчишкой. Город, где нашёл друга в портовой чайной. Город, в котором Селима теперь называли Явузом. Имя звучало на базарах, в чайных, в казармах, на рыбачьих лодках. Грозный. Наш Грозный.

А из Стамбула пришла бумага, в которой говорилось, что Грозный это мятежник.

Селим усмехнулся. Первый раз за восемь дней. Усмешка короткая, сухая, как треск ломающейся ветки.

— Слава и позор, — сказал Селим, ни к кому не обращаясь. — Пришли с одной почтой.

Глава 7. Крымский гамбит

Жасмин цвёл в последний раз. Осень уже тронула листья. К утру лепестки осыплются, белые и невесомые, как первый снег, которого в Трабзоне не бывает.

Хафса стояла у куста. Пальцы, привычные, быстрые, обрывали сухие веточки. Обрывать нечего: женщина уже обрезала куст утром. Просто руки не могли оставаться без дела. Особенно сейчас.

Селим замер в дверях, смотрел на жену. На спину, прямую и узкую под светлым платком. На руки, которые двигались, словно остановка означала остановку всего мира. На затылок, откуда выбилась прядь. Тёмная прядь с одной серебряной нитью. Этой нити не было ещё год назад.

Селим хотел сказать: я вернусь. Не сказал. Не был уверен. Хотел сказать: прости. Не сказал. Жена не просила прощения и не ждала его. Хотел сказать что-нибудь, хоть что-нибудь. Молчание разрасталось между супругами, заполняя комнату, как вода заполняет трюм тонущего корабля.

Хафса обернулась. Глаза сухие. Лицо спокойное. Только губы чуть сжаты. Эта едва заметная складка выдавала: женщина знает. Знает, что муж уезжает. Знает куда. Знает зачем. Знает, что может не вернуться.

— Сулейман спит, — произнесла Хафса.

— Знаю.

— Не буди его.

Селим кивнул. Разбудить мальчика — придётся объяснять. Объяснять нечего. Как скажешь пятнадцатилетнему сыну, что отец бежит из города, который защищал тринадцать лет? Бежит потому, что собственный дед объявил отца мятежником.

Хафса подошла близко. Селим ощутил запах жасмина. Не от куста, от жены. От кожи, от волос, пропитавшихся этим ароматом за годы ухода за белыми лепестками. Хафса подняла руку, положила ладонь на щеку мужа. Ладонь тёплая, сухая, лёгкая. Как всегда.

— Я буду здесь, — сказала женщина. — Когда вернёшься.

Не «если». «Когда». В этом слове заключалась вся Хафса. Женщина, отказывавшаяся верить в худшее не потому, что не видела его. А потому, что видела и всё равно выбирала надежду.

Селим накрыл ладонь жены своей. Секунду, две, три. Потом мягко снял, поднёс к губам, коснулся костяшек. Развернулся и вышел, не оглядываясь.

За спиной остался запах жасмина. Селим будет помнить его через моря, через горы, через битвы, через годы. Будет помнить в самые тёмные часы, когда всё покажется бессмысленным. Запах жасмина и слово «когда».

Группа покинула Трабзон в середине ночи. Луна скрылась за облаками, город лежал внизу тёмный и глухой, как камень на дне колодца. Восемь человек: Селим, Хасан Джан, шестеро верных сипахи. Каждый проверен лично, каждый знал: если схватят, разговор будет коротким. Мятежники, изменники, наказание.

Беглецы спустились к порту по тропе, известной только рыбакам и контрабандистам. Селим выучил тропу в первый год губернаторства, когда ходил по городу переодетым. Крутая, скользкая от морской влаги тропа. Камни вываливались из-под ног и летели вниз, в темноту, стучась о скалы.

Корабль ждал у дальнего причала. Не военная галера, торговая фелюга. Широкая, пузатая, пахнущая рыбой и просмоленным деревом. Хозяин, грек по имени Николас, взял тройную цену и не задал ни одного вопроса. Деньги имели свой язык и не требовали перевода.

Селим ступил на палубу. Доски качнулись под ногами, непривычно. Сухопутный человек: горы, кони, пыль. Море Селим терпел, но не любил. Слишком много пространства, слишком мало контроля. На коне человек хозяин: поводья, шпоры, воля. На корабле — пассажир, и всё решает ветер.

В эту ночь ветер дул с юга. Тёплый, влажный, нёс запах далёких берегов. Фелюга отвалила от причала бесшумно. Трабзон начал уплывать назад. Сначала огни порта, потом тёмная громада крепости на скале, потом линия гор, растворившаяся в ночном небе.

Селим стоял на корме и смотрел, как исчезает город. Город, в котором Селим прожил половину жизни. Город, где Селима назвали Явузом. Город, где нашёл друга, победил убийцу, сломал отцовскую печать. Город, где пах жасмин и спал сын.

Хасан Джан встал рядом. Молча. Мужчины стояли долго, пока берег не растворился в темноте окончательно. Вокруг не осталось ничего, кроме чёрной воды, чёрного неба и тонкой линии между ними. Линию нельзя увидеть, только угадать.

— Ты готов к тому, что хан может выдать тебя отцу? — спросил Хасан Джан.

— Менгли-Гирей мой тесть, — ответил Селим. — Его дочь моя жена. Его внук мой сын. Хан не выдаст меня.

— Родство не всегда защита. У Менгли-Гирея договор с Баязидом. Ахмед наверняка уже послал гонцов с обещаниями.

— Пусть посылает. Ахмед предложит хану крепости и золото. Я предложу кое-что дороже.

— Что?

— Внука на османском троне.

Хасан Джан помолчал. Солёный ветер бил в лицо, губы покрылись тонкой коркой соли. Корка хрустела, когда Хасан говорил.

— А если хан выберет крепости? Камень надёжнее обещаний.

— Менгли-Гирей пережил трёх султанов. Хан знает: крепости меняют хозяев, а кровное родство с тронном остаётся навсегда.

Фелюга качнулась на волне. Селим схватился за борт, чувствуя под пальцами мокрое дерево, склизкое от водорослей. Где-то внизу, под килем, лежала бездна. Чёрная, холодная, безразличная. Как будущее.

Чёрное море в ноябре не прощает. На второй день пути налетел шторм. Не сильный, но достаточный, чтобы фелюга кренилась. Вода захлёстывала палубу, всё незакреплённое летало от борта к борту. В том числе люди.

Селим сидел в трюме, прижавшись спиной к шпангоуту. Корабль вздрагивал на каждой волне, как живое существо, которому больно. Воздух в трюме спёртый, кислый, пропахший рвотой и мокрой шерстью. Трое из шести сипахи лежали пластом, зелёные, как незрелые оливки.

Хасан Джан, к удивлению Селима, держался. Сидел в углу, бледный, но прямой. Перебирал чётки с видом человека, находившегося не в трюме качающегося корабля, а в тихой мечети.

— Ты не болеешь? — спросил Селим.

— Болею, — ответил Хасан Джан. — Но молча. Как ты.

На третий день шторм утих. Утром четвёртого дня грек Николас крикнул с мачты:

— Земля!

Селим поднялся на палубу. Солнце, слепящее после трюмной темноты, ударило в глаза. Селим зажмурился. Когда открыл, увидел берег. Плоский, жёлто-серый, с низкими холмами, поросшими сухой травой. Не горы, не скалы. Степь, уходящая к горизонту, как расстеленный ковёр. Чужая земля. Другой мир.

Кафа выросла из берега, как грибная шляпка из пня. Приземистая, широкая, окружённая стенами генуэзской постройки. Стены потемнели от времени и соли.

Порт шумел, пестрел, забился судами. Генуэзские торговые нефы, османские каики, татарские плоскодонки, рыбачьи лодки. Запах рыбы, дёгтя, дыма и чего-то сладкого, пряного, незнакомого. Кумыс, поймёт Селим позже. Так пахнет степь, перебродившая на солнце.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.